



В. М. ФРИЧЕ

От Чернышевского к «Вехам»

Прошлый год был в нашей умственной жизни ознаменован двумя крупными событиями, имеющими непосредственное отношение к судьбам нашей интеллигенции.

В прошлом году исполнилось двадцать лет со дня смерти Н. Г. Чернышевского, одного из замечательнейших вождей и деятелей нашей разночинной интеллигенции, заветами которого она жила целое столетие.

В прошлом же году вышел в свет сборник «Вехи», где подвергаются осуждению и поруганию идеалы как самого Чернышевского, так и его родного детища — разночинной демократии.

И что весьма характерно: юбилей Чернышевского прошел без шума и подъема, без всякого энтузиазма, тогда как «Вехи» выдержали в короткий срок множество изданий, были гвоздем сезона и имели головокружительный успех.

Хотя оба эти факта совпали совершенно случайно, в их простом хронологическом совпадении чувствуется какой-то символический смысл, сквозит какая-то затаенная ирония истории.

«От Чернышевского к «Вехам» — ведь это в двух словах вся история нашей интеллигенции.

Чернышевский — это ее юность, полная героических порывов, жажды самопожертвования и гордого стремления вперед, юность, озаренная светлыми мечтаниями о царстве равенства и братства на земле.

«Вехи» — это тот возраст, когда пылкий протестующий юноша сознательно становится степенным обывателем, который с пренебрежением отмахивается от былых героических мечтаний и с головою уходит в свою будничную работу, в свое мещанское житье-бытье.

От имени Чернышевского веет на нас несокрушимой бодростью, творческой энергией, широкими преобразовательными

планами, веет непокорностью настоящему во имя лучшего будущего.

От сборника «Вех», напротив, отдает каким-то старческим бессилием, проповедью умеренности и аккуратности, любовью к покою и порядку.

Чернышевский — синоним эпохи «бури и натиска» в истории нашего разночинца, «Вехи» — иное выражение для наступающего в его жизни периода приспособления к буржуазному строю.

Если взглянуть с такой точки зрения на совпадение юбилея Чернышевского и выхода в свет «Вех», то оно получает уже характер не простой хронологической случайности, напротив, кажется естественным, понятным и необходимым, что двадцать лет после смерти великого учителя разночинной демократии должен был появиться сборник, специально предназначенный развенчать его идеалы.

И можно подумать, сам Чернышевский предвидел в неясных далях будущего возможность и неизбежность выхода в свет сборника «Вех».

Невольно вспоминается одна страница из его романа «Что делать?».

Чернышевский приветствует здесь выступление на историческую сцену разночинца как вождя демократии, призванного сыграть крупную роль в общественной жизни страны.

«Недавно, — замечает он, — родился этот новый тип и быстро размножается. Он рожден временем, он — знамение времени, — и сказать ли? — он исчезнет вместе с своим временем.

Шесть лет тому назад этих людей не было видно. Три года тому назад их презирали. Через несколько лет к ним будут взывать: «спасите нас», и что будут говорить они, будет исполняться всеми.

Еще немного лет, и их станут проклинять, и они будут согнаны со сцены, ошиканные и срамимые».

Как будто Чернышевский говорит здесь о «Вехах», о 1909 годе.

«Что же! — спокойно бросает он через головы своих современников этим тогда еще не родившимся «ценителям и судьям» — что ж! шикайте и срамите, гоните и проклиняйте!

Вы получили от них пользу.

С них этого довольно!..

И под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены, гордые и скромные, суровые и добрые, как были».

* * *

Когда в 50-х годах разночинец выступил на историческую сцену, Россия была экономически одной из наиболее отсталых европейских стран.

Еще не отжило натуральное хозяйство, держалось, хотя и шаталось уже, крепостное право, промышленность находилась еще в пеленках, не было никаких гарантий для свободы личности, передвижения, мысли.

Это была в полном смысле слова патриархальная помещичья вотчина.

В ней не было никакого почти спроса на умственный труд, не было поэтому и никакой надобности в значительных кадрах профессиональной интеллигенции.

Когда в своей невыполненной трилогии о «Мертвых душах» Гоголь задумал нарисовать идеализированную картину этого патриархального помещицкого царства, то он, как известно, не отвел в нем интеллигенции никакого места, а подверг ее остракизму, как никому не нужную общественную группу.

В этом тесном, почти средневековом мире разночинец сразу почувствовал себя лишним человеком, нелюбимым пасынком, и инстинкт самосохранения подсказал ему, что его спасение только вне рамок феодального уклада со всеми его политическими и идеологическими надстройками.

Так сделался он в экономически отсталой стране прежде всего «отщепенцем» от государства, противником существовавшего государственного строя.

И в этом отношении он не представлял исключения, ибо и на Западе Европы интеллигент был воителем против феодально-абсолютического строя до тех пор, пока последний не уступил место буржуазному укладу жизни и отношений.

Достаточно вспомнить ту весьма значительную и влиятельную роль, которую играла, например, французская интеллигенция во всех переворотах, начиная с Великой революции и кончая июльским восстанием.

Правда, на Западе интеллигент не был главнокомандующим, а только рядовым солдатом во всех движениях, направленных против старого феодального режима и его остатков, так как инициатива борьбы принадлежала здесь достаточно оппозиционной и достаточно активной буржуазии.

Иначе сложились обстоятельства у нас.

В период от 50-х до 90-х годов буржуазия у нас только слагалась и в силу разных исторических причин не могла быть

настроена очень оппозиционно, ибо чем позже выступает буржуазия той или другой страны на мировой рынок, тем более нерешительной и консервативной является она.

Центр тяжести освободительной борьбы передвигался, таким образом, силою вещей от «среднего сословия» к интеллигенции — долгое время единственной общественной группы, обладавшей достаточной прогрессивностью и активностью.

Верным чутьем отгадав половинчатость и нерешительность буржуазных слоев общества, разночинец при самом своем выступлении на историческую сцену протянул руку трудящимся классам, как единственному верному соратнику, казалось, не менее его самого заинтересованному в упразднении патриархально-вотчинного уклада.

Сам вышедший из социальных низов, материально необеспеченный, обреченный на суровую борьбу за существование, непризнанный и бесправный, как и «народ», разночинец инстинктивно чувствовал свое родство с ним и в его освобождении видел залог собственного лучшего будущего.

Так сделался он в силу объективных исторических причин в экономически отсталой стране не только «отщепенцем» от государственного строя, но и противником буржуазного мира.

«Разночинец, — говорит Потресов-Старовер¹, — принес в мир наших общественных отношений свое сердце, исполненное горячей, чисто пролетарской ненависти, и пронес эту ненависть, как светоч, через целые десятилетия упорной борьбы, поразившей весь мир своим героизмом. Он пришел не как желанный гость сесть за один стол с хозяином жизни, а как пришелец во вражеский стан, который надо разрушить. Он ненавидел старый мир вековой неправды, мир слуг и господ, мир покупающих труд человека и продажный до мозга костей. Отвергал... и из отрицания выросло утверждение, на обломках настоящего созидалась Церковь будущего, виднелась обетованная страна, грезились осуществление всемирного счастья».

Эта «антигосударственность» и «антибуржуазность», характерные для всей передовой интеллигенции второй половины XIX века, эти черты, сложившиеся под влиянием особых экономических и политических условий, ярко выступают уже в духовной физиономии учителя разночинной демократии.

Непримиримый враг патриархально-помещичьего уклада жизни, Чернышевский видел в его коренной реформе насущную задачу времени.

Можно спорить о том, был ли он членом первой «Земли и воли», основанной Серно-Соловьевичем², еще с большим осно-

ванием можно отрицать его сотрудничество в нелегальном органе «Великорус».

Но едва ли можно сомневаться, что он знал лично всех видных деятелей современного ему освободительного движения (некоторых он изобразил в своих беллетристических произведениях), что от него исходили и к нему возвращались все нити протестующей мысли, что он был сердцем и мозгом всего тогдашнего подпольного мира.

Непримиримый враг старого строя, Чернышевский в деле эмансипации страны не возлагал никаких надежд на либеральные слои общества. Если даже западноевропейские либералы не внушали ему никакого доверия, то родные и совсем казались ему плохи. Его раздражали их прекраснодушные речи о прогрессе, который в один прекрасный день сам свалится к нам с небесных высот. Он слишком хорошо знал их нерешительность, их склонность к компромиссам, чтобы почувствовать желанье опереться на их плечи.

С скептической усмешкой относился он и к Герцену, и к Тургеневу, и к Кавелину, ко всей либеральной «барской» интеллигенции, которая в свою очередь платила ему инстинктивной, стихийной, чисто органической ненавистью.

Стоит только вспомнить известную статью Герцена в «Колоколе», где он обвинял идеологов разночинной демократии чуть <ли> не в провокаторстве, или тот восторг, с которым Кавелин встретил известие о ссылке Чернышевского.

С большой иронией нарисовал он портрет прекраснодушного русского либерала в лице героя тургеневской повести «Ася» или в образе Рязанцева, портрет, и в наши дни еще не потерявший своих ярких и жизненных красок*.

Принципиальный противник либерализма, его программы и тактики, Чернышевский был не менее убежденный сторонник «антибуржуазности».

Всю жизнь стоял он на страже интересов производителя, всю жизнь верил он в неизбежность нового строя, где этот производитель будет получать весь выработанный им продукт труда.

Все эти черты, ярко выступающие уже в духовной физиономии Чернышевского, перешли потом по наследству к его духовному потомству — ко всей передовой разночинной интеллигенции.

Менялась внешняя обстановка, в которой приходилось действовать разночинцу, менялись его собственные взгляды на за-

* «Русский человек на rendez-vous» и роман «Пролог».

дачи деятельности и подробности программы — в этой волнующейся и подвижной среде он долгое время оставался верен заветам учителя.

Чернышевский уступил потом место Лаврову, Лавров — Михайловскому, Михайловский — Марксу, теория провиденциальной миссии «критически мыслящих личностей» сменилась «субъективной социологией», а эта последняя — экономическим материализмом; как бы ни были резки и часты происходившие с разночинцем метаморфозы, он, по существу, долгое время продолжал быть и протестантом, и коллективистом.

А между тем кругом мощно развивался капитализм, разрушая патриархальное прошлое и создавая новый мир с другим укладом и другими отношениями.

Все шире становился простор для умственного труда и все больше — спрос на интеллигентные силы.

И по мере того как из недр старого помещичьего мира выростало новое буржуазное общество, интеллигент все более превращался из нелюбимого пасынка в «желанного гостя», из «лишнего» в своего человека и все яснее сознавал он, что недалеко то время, когда он «сядет за один стол с хозяином жизни».

Уже в конце 90-х годов — задолго до 17 октября — разночинная интеллигенция начинает заметно дифференцироваться.

Из общей массы разночинной демократии в самый разгар «поветрия» выделяется значительная и влиятельная группа, которая быстро ставит крест над своими недавними «отщепенскими» идеалами и, исправляя Маркса при помощи Бернштейна³, отдает себя в распоряжение либеральной буржуазии.

Для предреволюционного периода «Проблемы идеализма» были тем же, чем для периода послереволюционного явились «Вехи», и на долю первого сборника выпал почти такой же успех, как и на долю второго.

Так поворачивали значительные кадры разночинной интеллигенции «от марксизма к идеализму» — как озаглавлена одна из книг г. Булгакова.

И, что весьма замечательно, стремление эмансипироваться от гегемонии трудящихся классов и их идеологии проникает в начале XX века не только в верхи интеллигенции, по самому своему существу близкие к буржуазии, а и в более демократические ее группы.

В самый разгар политической дифференцировки нашего общества, в самый разгар партийной группировки представители профессиональной интеллигенции — писатели, учителя, адвокаты и т. д. — образуют особую организацию «Союз союзов»⁴,

характерной чертой которого было явно выраженное желание отмежеваться от крайних партий как выразительниц интересов трудящихся классов.

В период между 1904—1906 годом интеллигенция, правда, массами притекала под знамя демократического движения, но лишь потому, что оно казалось победоносным.

Как только надежды на «народ» исчезли, развеянные суровой действительностью, процесс приспособления разночинной интеллигенции к буржуазному укладу жизни пошел со все увеличивавшейся быстротой.

После 1905 года в высших учебных заведениях широкой волной разливается так называемый академизм, и разночинец исчезает из крайних партий, ряды которых недавно еще пополнял.

Литература — это верное зеркало жизни — с особенной охотой рисует типы бывших революционеров и бывших социалистов.

На долю «Санина» Арцыбашева выпадает сказочный успех.

На этом фоне всеобщего поправления разночинной интеллигенции неудивительна и новая метаморфоза «идеалистов» 90-х годов.

Накануне 1905 года еще несомненные либералы, они после 1905 года все ближе подходят к октябризму.

И в самый разгар отлива разночинца от демократического движения они, отчасти закрепляя, отчасти опережая этот процесс, выбрасывают на рынок свои «Вехи».

До октября 1905 года звавшие интеллигенцию к «пересмотру» Маркса, они после октября 1905 года зовут ее еще и к пересмотру заветов Чернышевского.

Мы видели, что разночинная демократия отличалась «антигосударственностью» и «антибуржуазностью» не по своей доброй или злой воле, а в силу железных исторических законов, под влиянием той «внешней среды», в которой ей приходилось действовать.

Ясно, что за эти черты ее нельзя ни хвалить, ни порицать.

Это было бы так же неразумно, как если бы мы стали бранить или одобрять реку за то, что она течет так, а не иначе.

«Ход мировых событий, — замечал еще Чернышевский *, — представляет собою такой же «неотвратимый» и «неизбежный» процесс, как «течение великой реки». Исторические события не зависят «ни от чьей-либо воли, ни от чьей-либо личности»,

* Этюд о Лессинге.

ибо над ними царит такой же «роковой закон», каким в природе является, например, закон тяготения.

Если же кто будет порицать реку за то, что она течет именно так, то он, очевидно, заинтересован, чтобы она текла иначе.

Именно на такой не беспристрастной, не исторической, а предвзятой точке зрения стоят «Вехи» в своем отношении к прошлому нашей интеллигенции.

Они не объясняют настроения и идеалы разночинной демократии из тех экономических и политических условий, в которые она была поставлена и в которых ей приходилось действовать, а обыкновенно просто констатируют эти настроения и идеалы, чтобы затем обрушиться на них с великим негодованием или с меланхолической скорбью.

И эта предвзятость так ослепляет этих моралистов и проповедников, что каждый раз, когда они пытаются объяснить психологию интеллигенции в прошлом, они говорят — удивительные вещи.

Мы видели, что разночинец играл в нашем освободительном движении роль передового авангарда не потому, что он отличался теми или другими умственными и нравственными качествами — эти умственные и нравственные качества явились уж потом, как следствие, — а потому, что не было у нас таких классов, которые могли бы взять на себя инициативу борьбы, как на Западе.

Посмотрим, как объясняют «Вехи» этот факт.

Г. Булгаков рассуждает так: наш разночинец начитался европейских атеистических книжек, заимствовал из них «религию человекобожества», и так как в основе этой «религии человекобожества» лежит, по его мнению, не что иное, как чувство «самообожанья», то разночинец вообразил себя предызбранным мессией, призванным спасти родную страну от тяготеющих над нею оков.

«Вдохновляясь (этой «религией» и этим «чувством»), интеллигенция наша почувствовала себя призванной сыграть роль Провидения относительно своей страны. Она признала себя духовным ее опекуном и решила ее спасти»*.

Хорошо!

Но вот, например, английские пуритане, не читавшие, кроме Священного Писания, никаких книг, те уж, несомненно, считали себя предызбранными самим небом спасителями роди-

* Вехи. С. 37.

ны, призванными очистить ее от всякой скверны, предназначенными разгромить на земле царство сатаны.

Очевидно, мысль о роли мессии, обязанного спасти родину от опутавшего ее зла, складывается в уме той или другой группы, недовольной существующим строем, вовсе не под влиянием той или другой религиозной или философской доктрины, раз эта мысль одинаково уместается в голове русского интеллигента, воспитавшегося на атеистических книжках Запада, и в голове мелкого землевладельца или мещанина периода первоначального накопления, с фанатическим увлечением зачитывавшегося Библией!

Мы видели далее, что «антибуржуазность» нашей интеллигенции коренилась в конечном счете во внешних условиях страны, а именно в слабом развитии буржуазных отношений, в отсталости и неразвитости русского капитализма.

Посмотрим, как объясняют «Вехи» этот факт?

В этом сложном настроении, в этом *mixtum compositum*⁵, которое может быть названо «антибуржуазностью», г. Булгаков отмечает три основных элемента*. Это прежде всего, «значительная доля некультурности, непривычки к упорному труду и размеренному укладу жизни».

Итак, вся та молодежь, по общему отзыву историков и современников весьма светлая, которая двинулась, например, в 70-х годах «в народ», настроенная, как известно, «антибуржуазно», поступала так главным образом по своей «некультурности», по своей «непривычке к упорному труду», хотя всякий знает, что ради облегчения себе доступа в крестьянские массы эта молодежь обучалась всевозможным, для интеллигента отнюдь не легким профессиям, как то: кузнечной, столярной и т. д., которые без «упорного труда» не постигнешь!

В «антибуржуазности» нашей интеллигенции г. Булгаков усматривает далее «долю наследственного барства, свободного в ряде поколений от забот о насущном хлебе».

Можно подумать, со слов г. Булгакова, что в нашем «антибуржуазном» движении участвовали одни только эlegantные господа из «хорошего» общества, которые из чувства барской пренебрежительности никак не хотели примириться с «будничной стороной жизни», и, право, недостает только еще бобровых шуб, в которые г-жа Вербицкая изволит одевать русских социалистов.

* Вехи. С. 28, 29.

И странным кажется тогда, почему каждый раз, когда возникал вопрос об ограничении доступа в высшие учебные заведения, степень благонадежности всегда оценивалась в зависимости от материального положения студента, а не от его происхождения от предков-бар.

В «антибуржуазности» русской интеллигенции г. Булгаков усматривает, наконец, еще значительную дозу «неотмирности», господства «эсхатологической мечты о Граде Божиим», пред которой бледнела «земная действительность», и была эта мечта отнюдь не отражением неудовлетворенности разночинца существовавшим экономическим и политическим строем, пригнетавшим его, а пережитком «душевных навыков, воспитанных церковью» (впрочем, не «церковью», а — как пишет г. Булгаков — «Церковью»).

Известно, однако, что значительная доля этого «эсхатологического» настроения была и в психике К. Маркса, ибо чем, как не этим «эсхатологическим» настроением, объясняется тот факт, что он так часто преувеличивал близость нового строя, уже как бы видя перед собою воочию «Град Божий», а К. Маркс был одним из наиболее ярких типов социалиста-атеиста, совершенно чуждого всякой религиозности и всякой церковности, как прекрасно доказал в специально посвященной этой теме брошюре сам г. Булгаков*.

Если г. Булгакова особенно занимает «антибуржуазность» нашей интеллигенции, то г. П. Струве больше интересуется ее «антигосударственность»**.

Он усматривает «историческое значение интеллигенции» именно в ее особом «отношении к государству, в его идее и в его реальном воплощении».

Наиболее характерной чертой разночинца г. Струве считает его «отчуждение от государства».

Это «отщепенство» принимало или «абсолютную», или «относительную форму».

«В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании всякого общественного порядка... Относительным же... в разных видах русского революционного радикализма, к которому (принадлежат прежде всего) разные формы русского социализма».

Мы видели, что это «отщепенство» русской интеллигенции было опять-таки результатом известных внешних условий, ме-

* Маркс как религиозный тип⁶.

** Вехи. С. 130, 132.

шавших ей примириться с существующим политическим строем.

Не склонный стать на историческую точку зрения при объяснении этой черты, г. Струве просто констатирует, что эта «отщепенская» интеллигенция «объявилась в русской жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революции 1905 — 1907 гг.».

В одном месте г. П. Струве, впрочем, нашел нужным обмолвиться несколькими словами о причинах этой «антигосударственности» и открывает ее опять-таки в чисто идеологическом факторе, а именно в «рационализме» и «эмпиризме» мировоззрения разночинца, чуждого всякой «мистики и религиозности».

Но мало ли существовало на земле «эмпириков» и «рационалистов», которым и в голову не приходило отрицать государство ни в его «идее», ни в его «реальном воплощении».

Итак: по мнению «Вех», русский разночинец сделался коллективистом и протестантом не в силу внешних и политических причин, а благодаря своей «некультурности» и «барству», благодаря своим «эсхатологическим» настроениям и своему «рационализму».

Понятно, почему «Вехи» при объяснении психологии разночинной демократии передвигают центр тяжести от социально-экономических факторов в сторону «настроений», «привычек» и «идей».

«Вехи» вовсе не хотят исторически понять и оценить интеллигенцию, а <хотят> перевоспитать ее.

Они не изучают, а морализируют.

«Интеллигентское сознание требует радикальной реформы!» — провозглашает г. Бердяев*.

«Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое мирозерцание», — вторит ему г. Струве**.

«Нужно покаяться, т. е. пересмотреть, передумать и осудить свою прежнюю душевную жизнь, чтобы возродиться к новой жизни», — заканчивает г. Булгаков***.

Куда же ведут интеллигенцию эти вечные «ревизионисты», эти маньяки ревизионизма?

* Вехи. С. 21.

** Там же. С. 142.

*** Там же. С. 58.

II

Когда в начале XIX века во Франции стала развиваться крупная промышленность, то один из величайших теоретиков нового буржуазного общества Сен-Симон в тираде, ставшей знаменитой, обрушился с негодованием на интеллигенцию за ее участие в великом перевороте⁷.

Призвание умственных работников не революции «делать», а служить экономическому и культурному прогрессу страны.

В начале XX века с таким же наставлением обращаются к русской интеллигенции «Вехи».

Подобно тому как, по словам Сен-Симона, выходило, что Великая французская революция была «сделана» интеллигенцией, так, по словам «Вех», выходит, что наша революция была точно так же «сделана» нашей интеллигенцией.

«Русская революция, — поучает г. Булгаков*, — была интеллигентской». «Руководителем, духовным двигателем ее была наша интеллигенция со своим мировоззрением, навыками, вкусами, даже социальными замашками». Она была «нервами и мозгом гигантского тела революции». «В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции».

Такой же точки зрения придерживается и г. П. Струве**, по словам которого, движение 1905—1907 годов было «сделано» интеллигентами и, конечно, по его мнению, «плохо». Нет надобности доказывать, что подобная оценка роли интеллигенции в движении преувеличена.

Приятно вспомнить, что разночинец эпохи «бури и натиска» смотрел на психологию общественных переворотов гораздо более трезво и реалистично, прекрасно понимая, что не «идеи», а «интересы» лежат в их основе, что главными в них героями являются не «идеологи», а «массы».

Излагая в одной из своих статей*** события во Франции от Великой революции до июльского переворота, Чернышевский подчеркивал, что не интеллигенция, а «простолюдины низвергли старинное устройство в конце прошлого века», не идеологи, а «масса» своим «охлаждением» привела к гибели Наполеона I, и если в июле 1830 года победили либералы, то только благодаря поддержке рабочего класса⁸.

* Там же. С. 25.

** Там же. С. 141.

*** Статья о Июльской монархии.

И Чернышевский делал из этих фактов следующий общий вывод: «Источником всей силы, какую имело то или другое французское правительство, бывала надежда массы, что оно благоприятно для нее, (а) недовольство ее своим положением было всегда причиной катастрофы».

Но вернемся к «Вехам».

Подобно Сен-Симону в начале XIX века, «Вехи» в начале XX столетия рисуют перед интеллигенцией новую программу, весьма отличную от заветов Чернышевского.

Интеллигенция обязана прежде всего отказаться от своего «народолюбия».

Это «народолюбие» было, по словам Бердяева *, лишь «ложным человеколюбием». Столь свойственный интеллигенту прошлого культ «крестьянства» и «пролетариата» был не более как признаком «недостаточного уважения к абсолютному значению человека».

Так точно г. Струве ** требует от интеллигенции, чтобы она перестала представлять в современном обществе «особую культурную группу» и во имя примирения с действительностью «вынула из своего мировоззрения его главный камень», т. е. социалистическую веру.

«Россия, — продолжает г. Булгаков *** развивать их взгляды, — нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни» — и эти новые люди найдут «новые практические пути для своего служения, помимо существующих программ» (подразумеваются прежде всего, конечно, программы «крайних» партий).

Процесс перевоспитания должен начаться уже со студенческой скамьи.

Почти целое столетие русское студенчество, эта — по словам г. Изгоева **** — «квинтэссенция интеллигенции», вместо того чтобы заниматься науками, уходило в подпольное движение.

И пока в России господствовал «старый режим», это было, по мнению г. Изгоева, — совершенно законное явление, ибо студенчество «будило общественную мысль, тревожило правительство и постоянно напоминало самодержавной бюрократии, что она не сможет задушить страну. Словом, как бы ни были в

* Вехи. С. 8.

** Там же. С. 142, 144.

*** Там же. С. 59.

**** Там же. С. 200, 205.

прошлом велики «недостатки» русского студенчества, «русское общество и русский народ должны все прощать ему за ту огромную положительную роль, которую оно играло».

Но теперь, на «пороге новой русской истории, знаменующейся открытым выступлением наряду с правительством общественных сил (каковы бы они ни были и как бы ни было искажено их легальное представительство)», студенчество должно подать в отставку как политический фактор.

Теперь, когда эти «общественные силы» взяли на себя задачу государственного строительства, «общество требует уже от студенчества другого» — а именно «знания, работоспособности и нравственной выдержки».

Русский студент обязан взять пример с западноевропейского. «Надо покончить с легендой, будто русское студенчество головою выше заграничного».

И г. Изгоев приводит в пользу неосновательности этой «легенды» свои наблюдения над парижскими слушателями *Ecole de droit*⁹, умеющими «мастерски» записывать лекции вслед за профессорами!

Пусть так!

Но вот недавно д-р Крамский произвел любопытную анкету среди немецкого студенчества, результаты которой напечатал в «*Berliner Tageblatt*»*.

По поводу известной выходки депутата Ольденбурга студентам разных высших учебных заведений было предложено два вопроса: «Имеет ли император право насильственно разогнать рейхстаг?» и «Для чего нужен рейхстаг?».

Огромное большинство студентов обнаружило поражающее невежество в области самых элементарных вопросов государственного права.

«Оказалось, — пишет д-р Крамский, — что сущность конституционной монархии была для них книгою за семью печатями».

Как бы мы, однако, ни отнеслись к «превосходству» западноевропейского студенчества, одно остается вне сомнения, а именно, что и это так «мастерски» записывающее лекции профессоров западноевропейское студенчество так или иначе, особенно в острые периоды, занимается политикой, хотя, разумеется, и не в духе «крайних» партий, от которых ныне рекомендуется отказаться и русской интеллигенции.

* Газета «Студенческий мир». № 8. «Анкета среди немецкого студенчества».

Достаточно вспомнить роль французского студенчества в подавлении пролетарского движения 48 года.

«Июньские дни, — замечает В. Засулич *, — когда рабочие в первый раз увидели в вражьих рядах студенческие мундиры, вырыли никогда не закрывавшуюся вполне пропасть между радикальной буржуазией и рабочими».

Достаточно вспомнить хотя бы и недавнее выступление немецкого студенчества во время предвыборной кампании, выступление, резко направленное против социал-демократической партии.

В этом перерождении русского интеллигента из «отщепенца» и «антибуржуа» в «нового» деятеля роль «очистительного огня» призвана сыграть прежде всего — по мнению г. Бердяева — философия.

Положим, интеллигенция и раньше занималась философскими вопросами, но относилась к ним предвзято, искала в них не «истины», а обоснования своей партийной программы.

«Интеллигенция, — восклицает г. Бердяев **, — не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья».

Как же относятся «Вехи» к философии?

Является ли для них философия средством искать истину? Или, быть может, она служит той же политике?

Несомненно!

Авторы «Вех» когда-то были яркими сторонниками Канта.

Почему?

«Мы хотели использовать неокантианство, — замечает откровенно г. Бердяев ***, — для критического реформирования марксизма и для нового обоснования социализма.

Это значит на языке «Вех» пользоваться философией для отыскания «абсолютной истины»?!****

Несколькими строками ниже г. Бердяев провозглашает немецкую идеалистическую философию уже не средством «реформирования социализма», а прямо средством — освобождения от социализма.

* Т. П. «Революционеры из буржуазной среды».

** Вехи. С. 8.

*** Там же. С. 14.

**** Там же. С. 1.

«Потом неокантианский и неофихтеанский дух стал для нас орудием освобождения от марксизма и позитивизма».

Разве это значит бескорыстно искать «абсолютную истину»?

«Вехи» резко ополчаются против стремления нашей интеллигенции изучать западных философов и советуют ей лучше заняться своими родными мыслителями.

«Русская философия, — провозглашает г. Бердяев *, — в своей основной тенденции продолжает великие философские традиции прошлого, и в ней жив еще... дух классического германского идеализма».

Но ведь «классический германский идеализм» служил авторам «Вех» только средством «освобождения от марксизма и позитивизма»!

Очевидно, не иную роль должна играть и родная философия Трубецких, Лопатиных и *tutti quanti*¹⁰.

Где же бескорыстное искание «истины»?

По мнению «Вех», философия не должна быть «орудием общественного переворота», но «орудием освобождения от марксизма и позитивизма» она имеет полное право быть.

Другим «очистительным огнем», призванным переплавить бывшего «отщепенца» и «антибуржуа» в «нового» деятеля, является, по мнению «Вех», — религия.

«Многими пикантными кушаньями со стола западноевропейской цивилизации кормила себя наша интеллигенция, — восклицает г. Булгаков **, — не пора ли вспомнить о простой, грубой, но безусловно здоровой и питательной пище, о старом Моисеевом девятисловии¹¹, чтобы потом дойти и до Нового Завета».

Все спасение России в возникновении новой «церковной» интеллигенции, которая «подлинное христианство соединила бы с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач».

Эта новая интеллигенция откажется от своего прежнего предрассудка, будто главная задача — в изменении «среды», и с не меньшим увлечением уверует в необходимость прежде всего личного перевоспитания.

Она поймет, что центр тяжести, — по словам П. Струве ***, — не в идее «внешнего устройства общественной жизни», а в идее «внутреннего совершенствования человека».

* Там же.

** Там же. С. 51.

*** Там же. С. 142.

Между тем как «интеллигентский героизм» видел цель всех стремлений во «внешнем спасении человечества», задача «христианского подвижничества» заключается, по словам г. Булгакова *, в том, чтобы превратить свою (личную) жизнь в незримое самоотречение и послушание», в том, чтобы «исполнить свой труд со всем напряжением, самодисциплиной, самообладанием».

И чтобы не было сомнений насчет того, для кого и для чего нужны это «послушание» и эта «самодисциплина», г. Булгаков — приводит «новейшие исследования», выяснившие огромное значение возрождения христианства на Западе для «хозяйственного развития» Европы, огромное значение «реформации» для «выработки индивидуальностей, пригодных стать руководителями народного хозяйства» **.

Для ясности следовало бы только прибавить, что «народное хозяйство», для процветания которого так необходимы и «послушание», и «самодисциплина», есть на самом деле хозяйство не народное, а частнокапиталистическое.

III

При свете «нового» мировоззрения иначе рисуется теперь интеллигенции сущность и характер общественной жизни.

Когда разночинец выступил на историческую сцену, он был сторонником теории классовой борьбы.

В современном обществе, — доказывал Чернышевский ***, — продукт труда неизбежно распадается на ренту, прибыль и заработную плату, и каждой из этих трех экономических категорий соответствует один определенный общественный класс — землевладельцы, капиталисты и рабочие.

Так как интерес ренты, прибыли и платы противоположны, то враждебны друг другу и интересы трех соответствующих классов.

«История всех цивилизованных стран, — замечает Чернышевский, — одно непрерывное свидетельство постоянства этой тенденции.

Интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе.

* Вехи. С. 55.

** Там же. С. 33.

*** Примечания к Миллю.

(Вот почему) против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.

Интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы.

(Вот почему) как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом».

Так как оба господствующих класса одинаково оставляют за собой «известное количество ценностей», произведенных работниками, то их интересы не безусловно противоположны, и они охотно идут друг другу на уступки.

Каждый класс создает не только свою особую партию, защищающую его материальные интересы, но и когда достигает власти, перестраивает государство в наиболее для него выгодном виде, так что существующее в данное время правительство есть как бы его исполнительный «комитет».

В борьбе за власть каждый класс создает далее особые экономические, научные, философские и литературные теории.

Вся область интеллектуальной жизни — отражение и орудие борьбы классов.

Так Чернышевский объясняет, например, смену экономических учений в зависимости от изменений, происшедших в данном классе, или от выступления на сцену новой общественной группы.

Когда английская буржуазия продвигалась к власти, то ее экономисты, с А. Смитом во главе, были рационалистами и противопоставляли феодальным учреждениям требования «разума», а когда потом идеологи рабочего класса (утописты) стали, в свою очередь, ссылаться на этот «разум» для доказательства несовершенств капиталистической системы производства, то буржуазные экономисты апеллировали уже к «истории», чтобы подчеркнуть законность и неизменяемость всего исторически сложившегося. Так сменилась под влиянием классовой борьбы классическая школа политической экономии — школой «исторической».

Подобно экономическим учениям, и научные теории отражают в слегка завуалированной форме настроения и интересы тех или других общественных групп.

Так, теория Кьюве о «неизменяемости» видов скрывала под тканью научных терминов настроения и стремления реакционных групп французского общества эпохи Реставрации, заинтересованных в сохранении старого порядка, тогда как трансформистская, или эволюционная, доктрина Ламарка¹² была

своего рода программой оппозиционных классов, рвавшихся вперед к иной общественной организации*.

Так точно и философские учения отражают, по мнению Чернышевского, практические нужды того или другого класса, той или другой группы.

Французские энциклопедисты XVIII века были типичными философами буржуазии.

«Они воображали, что народу не нужно ничего иного, кроме тех вещей, которые были нужны для буржуазии, и сам народ еще не замечал тогда, что его потребности не во всем сходны с интересами среднего сословия, шедшего тогда во главе его на общую борьбу против феодалов».

Хотя энциклопедисты и говорили обыкновенно о «человеке» вообще, однако в сущности имели в виду «торговца, фабриканта и банкира»**.

В другом месте Чернышевский доказывает, что все немецкие философские системы конца XVIII и начала XIX столетия выражали в отвлеченных понятиях практические интересы тех или других политических партий, т. е. в конечном счете общественных групп.

Так, философия Канта была замаскированной философскими терминами программой мирного либерализма, система Фихте — манифестом революционного радикализма, а учение Шеллинга — евангелием реакции, мечтавшей «восстановить феодальное государство».

Это значит не только, что эти мыслители как «частные люди» держались таких убеждений, а прежде всего то, что их «философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым они принадлежали».

И так было всегда.

«Говорить, будто бы не было и прежде всего того же, что теперь, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений, — это чрезвычайная наивность»***.

Как ни отрешено на первый взгляд эстетическое чувство от практической жизни, Чернышевский прекрасно понимал, что каждый класс, каждая группа вкладывает в него особое конкретное содержание в зависимости от своего социального поло-

* Происхождение теории благотворительности борьбы за жизнь.

** Капитал и труд.

*** Антропологический принцип в философии.

жения и выработанного этим социальным положением психического строя.

Выяснению этой истины были посвящены, быть может, самые оригинальные страницы его отвергнутой магистерской диссертации «Эстетические отношения к действительности».

Там Чернышевский доказывал, что господствующие классы, ведущие «роскошно-бездейственный» образ жизни, видят признак красивого лица в «томности и бледности», тогда как крестьянин, чувствующий себя хорошо только при условии «материального довольства, постоянной, нешуточной, но и не изнуряющей работы», считает красивым все то, в чем выражается «цветущее здоровье и равновесие сил в организме», а интеллигент, живущий преимущественно умом и сердцем, требует от красивого лица прежде всего выразительных и прекрасных глаз.

Так точно в «Очерках гоголевского периода» Чернышевский вскрывает классовую подкладку теории чистого искусства.

Исходя из той мысли, что литература по самому своему существу не может не быть выразительницей жизни, он видел истинный смысл этой формулы в том, что господствующие классы стараются изъять из художественного творчества все такие мысли, настроения и образы, которые могут быть вредны для их социального господства.

Не всегда стоял Чернышевский на такой чисто экономической точке зрения объяснения истории, нигде не придал он своим взглядам форму стройной теории, и однако сквозь все уклонения и противоречия явственно проступает основная мысль его исторического мировоззрения, а именно, что история есть, вплоть до отдаленнейших, вплоть до отвлеченнейших идеологий, неустанная борьба классов.

Теория классовой борьбы перешла потом в условной или безусловной форме от Чернышевского к его духовным потомкам — к разночинной демократии.

Для «новой» интеллигенции, идущей на службу к буржуазии, эта теория становится уже вредной и лишней.

По убеждению г. П. Струве, «нельзя сводить политику к (простому) состязанию общественных сил, например, к борьбе классов», а г. Бердяеву классовое объяснение разных идеологий и философских учений кажется какой-то «болезненно-навязчивой» идеей, охватившей не только марксистов, но и «большую часть левых», и в этой «мании» он видит только признак «умственного, нравственного и общекультурного декаданса» *.

* Вехи. С. 143, 10.

Так, после 1848 года французские историки Гизо и Тьерри, до июльского переворота стоявшие сами на точке зрения классового объяснения «хода мировых событий», отказались от этой точки зрения, когда на сцену выступил пролетариат со своими собственными требованиями и идеалами.

* * *

Понятие «класс» уступает в мировоззрении «новой» интеллигенции место понятию «национальность».

В пору «отщепенства» и «антибуржуазности» разночинец не придавал этому слову никакого особенного значения. Он был, конечно, сторонником «автономии», права каждого народа на самоопределение. Он сочувствовал стремлениям национальностей к освобождению и объединению.

И однако мир распадался в его глазах прежде всего на два класса — на «собственников» и «эксплуатируемых».

Разночинец эпохи «бури и натиска» не мог дорожить идеей национальности как потому, что не мог ожидать от нее никаких осязательных выгод за отсутствием национального капитала, так и потому, что сознавал себя частью международного социалистического движения.

Для Чернышевского национальная проблема, в сущности, не существовала.

Не расовые свойства, а социальные причины создают, по его мнению, характер той или другой народности.

Если негр и отличается от англичанина, то не вследствие «органических особенностей», а «исключительно» вследствие «исторической судьбы своей».

А если уже характер различных рас является результатом социальных условий, то между представителями двух разных народностей, принадлежащих к одной и той же расе, меньше сходства, чем между представителями двух разных «сословий» одного и того же народа.

«Говорят, — замечает Чернышевский, — (что) у англичанина развит преимущественно лоб, (а) у француза — затылок».

И он спешит прибавить: «Сравните в этом отношении различные сословия одного и того же народа, и вы увидите разницу, несравненно более значительную».

Представители господствующих классов отличаются всегда «большим развитием лба», нежели простолюдины, что зависит «единственно» от «образа жизни и занятий»*.

* Рецензия на брошюру Бабста.

Общность классовых интересов является, по мнению Чернышевского, более существенным фактором, чем общность национальных черт.

«Связь по принадлежности к одной и той же партии, — замечает он *, — гораздо крепче, нежели связь по национальности, а вражда по различию партий — выше недоверия, внушаемого иноземцами».

Европейский мир распадался, в глазах Чернышевского, лишь на две «нации» — на черный и красный Интернационал.

«По всему материка Западной Европы, — говорит он, — реакционеры составляют нечто вроде старинного мальтийского ордена, в котором были люди всех национальностей, и все стояли друг за друга, и все стояли за свой орден».

«Так точно, — прибавляет Чернышевский, — и революционеры».

И всегда, когда где-нибудь вспыхивала «национальная» рознь, он старался разоблачить лежавшую в ее основе вражду классов.

Когда, например, русинские националисты подняли травлю всего польского, Чернышевский поучал их, что в «основе дела» лежит «вопрос, совершенно чуждый племенному», а именно вопрос «сословный».

«Мы не полагаем, — замечает он, — чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев» **.

И такое равнодушное отношение к национальной традиции и культуре перешло потом от Чернышевского к его потомкам — к разночинной демократии.

Теперь, когда русский капитал все более проникается сознанием своих национальных задач, когда он призывает к себе на службу профессиональную интеллигенцию, вопрос о «национальности» получает иное значение и иное истолкование.

Для «Вех» это одна из коренных проблем современной жизни.

Г. Булгаков резко ополчается против «космополитизма» русского интеллигента в его прошлом, против его стремления разыграть роль маркиза Позы, против его мании быть и чув-

* Политика (1859).

** Национальная бестактность. Цитаты заимствованы из книги Ю. А. Стеклова «Чернышевский, его жизнь и деятельность».

ствовать себя *Weltbürger*'ом¹³, и он скорбит о том, что интеллигенция «не продумала еще национальной проблемы»*.

Под культом национальности следует, разумеется, понимать не столько признание «национальной автономии» — ведь против нее не возражал и разночинец эпохи «отщепенства» и «антибуржуазности».

Речь идет теперь о национальной «традиции» и национальной «культуре».

Историческое прошлое с его навыками, настроениями, образами и идеалами получает в глазах «новых» деятелей громадную ценность, как элементы, поднимающие их самосознания. Все, что было так чуждо интеллигенту-отщепенцу, «чувство кровной исторической связи, любви к своей истории, эстетического ее восприятия», — становится для них источником благоговейно-религиозных переживаний.

«Такое понимание национальной идеи, — замечает г. Булгаков, — отнюдь не должно вести к националистической исключительности, напротив, только оно положительным образом обосновывает идею братства народов, а не безнародных, атомизированных «граждан» или «пролетариев всех стран», отрекающихся от родины».

Вне этой национальной идеи невозможен «прогресс цивилизации».

Во имя той же идеи зовет и г. Бердяев** интеллигенцию от увлечения западноевропейскими мыслителями к изучению родной философии.

«Особенно печальным» представляется ему «упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатком русской философии».

«Быстросменному увлечению модными европейскими учениями, — восклицает он, — должна быть противопоставлена традиция» одновременно и универсальная, и национальная».

Не впервые раздается у нас эта проповедь «национальной» культуры. Ею в значительной степени пропитана наша литература первой половины истекшего столетия. Сторонниками «национальной» культуры были и Пушкин, и Грибоедов, Гоголь, и славянофилы.

В основе их национализма лежали, разумеется, иные социальные корни.

* Вехи. С. 60, 61.

** Там же. С. 18, 19.

Националисты первой половины XIX века были идеологами дворянского класса. В их глазах «национальная» традиция и «национальная» культура были лишь другим выражением для обозначения чисто помещичьего уклада жизни, в противоположность западноевропейской буржуазной цивилизации.

Национализм «Вех» носит уже не дворянский, а буржуазный характер.

Это не мечта последних феодалов отстоять страну от вторжения западноевропейского капитала, а облеченное в идеологическую форму стремление русского капитала занять свое место на мировом рынке, получить свою долю из общей массы прибавочной стоимости.

Хотя корни старого и нового национализма и глубоко различны, он, однако, выражается в тех же формах, облекается в ткань тех же образов, настроений и лозунгов.

В этом пережевывании давно уже созданных символов сказывается с особенной наглядностью творческое бессилие русской буржуазной мысли.

Подобно Пушкину и славянофилам, «Вехи» зовут интеллигенцию к слиянию с «народом» — этим воображаемым хранителем национальных верований, идеалов и заветов.

«В нашей литературе, — восклицает Булгаков *, — много раз указывалась духовная оторванность нашей интеллигенции от народа... Она пророчески предсказана была уже Пушкиным, сначала в образе вечного скитальца Алеко, а затем Евгения Онегина, открывшего целую серию лишних людей».

Подобно «националистам» прошлого, «Вехи» видят основную причину этой «духовной оторванности» интеллигенции от народа в противоположности их «веры», их «религии».

Самый образ «народа» рисуется «Вехам» в том же самом фантастическом виде единого, нераздельного целого и притом проникнутого христианским смирением и покорностью.

«Если, — восклицает г. Булгаков **, перефразируя известные слова Достоевского, — народ наш мог вынести (все сыпавшиеся на него невзгоды) и сохранить свою душевную силу, то это лишь потому, что он имел источник духовной силы в своей вере и в идеалах христианского подвижничества, составляющего основу его национального здоровья и жизненности».

Между тем как интеллигент был и есть материалист и атеист, «духовный уклад народа» определялся и определяется

* Там же. С. 60.

** Там же. С. 63.

«христианской верой». В прошлом интеллигент ставил своей задачей «разрушить народную религию» — «новые» деятели, в которых Россия нуждается на «всех поприщах жизни», откажутся от своего атеизма и примут от народа — его религию.

Как видно, все это очень избито и старо, все это гораздо ярче и оригинальнее говорил Достоевский.

Как бы ни была, однако, старомодна та оболочка, в которую облекается новый национализм, сама проповедь национальной культуры и традиции отвечает весьма современным и насущным потребностям жизни.

Чем прочнее станет на ноги русский капитализм, тем больше будет заинтересована в его процветании наша интеллигенция, чем больше прибавочной стоимости выпадет на долю интеллигенции, тем больше дорожить она будет всем «национальным».

И если в пору «отщепенства» и «антибуржуазности» разночинец, отстраняя «национальный вопрос», выдвигал на первое место понятие о двух классах, «новые» деятели будут, напротив, затушевывать классовый характер общественных отношений, стоя на страже «национальной культуры».

* * *

Кому же принадлежит будущее: Чернышевскому или «Вехам»?

Будет ли русский интеллигент и впредь протестантом и коллективистом или, отказавшись от своих исконных идеалов, станет тем новым деятелем, от появления которого зависит спасение страны?

«Вехи» убеждены, что будущее за ними!

Интеллигенция, по словам г. П. Струве*, — «обуржуазится в процессе экономического развития», т. е. «органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад», причем «быстрота» этого «социального приспособления» будет всецело зависеть от «быстроты экономического развития России», а также от быстроты «переработки всего ее государственного строя в конституционном духе».

Совершенно верно.

Видно, что г. П. Струве когда-то был учеником Маркса.

Но интеллигенция — не однородная группа.

* Вехи. С. 144.

По мере экономического развития страны сама интеллигенция будет все более дифференцироваться, в себе самой отражая основное противоречие капиталистического общества.

Силою вещей она сама распадется на буржуазию и пролетариат.

Между тем как верхи интеллигенции — ее наиболее квалифицированные и хорошо оплаченные слои — будут все сильнее тяготеть к капиталистическому строю в надежде получить свою долю прибавочной стоимости, ее низы — менее квалифицированные и плохо оплаченные группы — будут, в свою очередь, все больше сближаться с тем классом, который вырабатывает эту прибавочную стоимость.

Первые пойдут вперед, вслед за «Вехами», вторые назад — к Чернышевскому.

III

Старая традиция, прочно укрепившаяся в среде нашей интеллигенции, видит в Чернышевском одного из родоначальников народничества.

С гораздо большим основанием в нем можно усматривать одного из предшественников марксизма*.

В отличие от народников Чернышевский считал исторические законы развития одинаково обязательными для всех наций и для всех стран. Для него не было никакого сомнения, что Россия пойдет по тому же пути, как и Западная Европа.

В эпоху, когда страна только поворачивала на путь промышленного развития, когда процесс капитализации только еще начинался, Чернышевский проникновенным взглядом ставил верный диагноз ее будущего.

В 1857 г. в «Заметке о журналах» он, правда, оговаривается, что Россия еще долго будет страной преимущественно земледельческой, но тут же прибавляет: «Но и того нельзя скрывать от себя, что Россия, доселе еще мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш

* Заслуга в деле выяснения этой стороны мировоззрения Чернышевского всецело принадлежит Ю. М. Стеклову, превосходной книгой которого («Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность») мы пользуемся в дальнейшем. К сожалению, цена этой книги так высока, что она едва ли проникнет в широкие слои читающей демократической публики.

быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при условии экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе».

И смелой рукой он чертит перспективу будущего: «Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции».

В том же месте Чернышевский подчеркивает, что капитализм ворвется в недалеком будущем и в деревню, втягивая и ее в свой круговорот.

«До сих пор, — замечает он, — семейство наших поселян (все почти необходимое для жизни) производило домашним путем. Скоро не то будет: домашнее сукно сменится на поселянине покупным, фабричным, а льняные и посконные ткани домашнего изделия сменяются хлопчатобумажными... Все это совершится на глазах еще нашего поколения в селах, как до сих пор оно совершалось только в больших городах».

«Мы живем в эпоху значительных экономических преобразований, — продолжает Чернышевский. — Достоверно, что развитие экономического движения, заметным образом начинающееся у нас пробуждением духа торговой и промышленной предприимчивости, построением железных дорог, учреждением компаний пароходства и т. д., необходимо изменит наш экономический быт, до сих пор довольствовавшийся простыми формами и средствами старины».

И он делал отсюда вывод: «Волей-неволей мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы».

Эти слова убедительно показывают, что Чернышевский не был сторонником учения об особом пути развития России.

В этом указании на необходимость капиталистической промышленности в России не было бы ничего особенно ценного и интересного, если бы он не видел вместе с тем в этой социально-экономической метаморфозе залог будущего, гарантию прогресса.

Когда в 1857 году правительство понизило банковый процент (с 4 до 3), Чернышевский приветствовал эту меру — «важнейшее событие последних месяцев», — ибо она освободит капитал из бесплодного заточения и бросит его в промышленность, которую оживит и поднимет*.

* Современное обозрение. Сентябрь.

А если у нас развернется индустрия по западноевропейскому образцу, то неизбежно поднимется на высшую ступень и весь наш социально-политический быт.

Подвергая в ноябре 1857 года анализу наиболее яркие события последних месяцев, Чернышевский в особенности радуется мерам к поднятию индустрии или, как он выражается, «промышленному направлению», прекрасно понимая огромное значение новых форм производства для политической и умственной эмансипации страны.

«Из него (т. е. из этого «промышленного направления») выходит и некоторое содействие просвещению, потому что для промышленности нужна наука и умственная развитость; из него выходит и некоторая забота о законности и правосудии, потому что для промышленности нужна безопасность; из него выходит и некоторая забота о просторе для личности, потому что для промышленности нужно беспрепятственное обращение капиталов и людей». Если войны приносили иногда неоспоримую пользу, то ужели не принесут некоторой пользы «победы фабрикантов и инженеров, купцов и технологов»?

И эти рассуждения, извлеченные из ряда еще только намечавшихся фактов, Чернышевский заканчивает следующим выводом, от которого отказался бы ортодоксальный народник: «Когда развивается промышленность, прогресс обеспечен» *.

Нет надобности доказывать, что Чернышевский прекрасно понимал отрицательные стороны капитализма. Он постоянно указывал на них, полемизируя с теоретиками буржуазии.

Но был ли он народником в своей критике индустриализма? В полемике с буржуазными экономистами Чернышевский употребил известное выражение «язва пролетариата» **.

Но этому выражению он не придавал того значения и смысла, которые вкладывали в него народники.

Как впоследствии марксисты, Чернышевский видел в язве пролетариата зло лишь относительное. Он ясно отдавал себе отчет в том, что оно в себе самом же носит свою противоположность, свое противоядие, свое исцеление.

В одной из своих статей *** он указывает на то, что на Западе не только увеличивается число пролетариев, но — что особенно важно — «проясняется понятие их о своих потребностях», «возрастает сознание их о своих силах».

* Современное обозрение. Ноябрь.

** Русская беседа и славянофилы.

*** О поземельной собственности.

Чернышевский видел, как на Западе рабочий класс все больше организуется, все резче противопоставляет себя господствующей буржуазии, видел, как из самого же капиталистического строя вырастают свежие зеленые ростки новой жизни.

Сделав обзорные проявления рабочего движения на Западе, Чернышевский вполне соглашается с одним публицистом буржуазии, видевшим здесь только «зародыш», а «когда он разовьется, так еще не то будет», но если публицист буржуазии боялся этой перспективы, Чернышевский видел в этом безусловно положительную черту, доказательство того, что западноевропейский мир идет неизбежно навстречу более высокой общественной организации, от чисто капиталистического хозяйства к «товарищеской ассоциации» *.

И из этих фактов он делал следующий, отнюдь не правомерно-народнический вывод: «Мы нисколько не сомневаемся, что страдания пролетариата будут исцелены, что эта болезнь не к смерти, а к жизни!»

Не был Чернышевский ортодоксальным народником и в своем отношении к общине. Нет спора, он долго и страстно защищал ее как одну из возможностей перехода к более высокой общественной организации.

И однако он был слишком осторожным и трезвым мыслителем прежде всего, для того чтобы окружать ее каким-то религиозным культом, видеть в ней какой-то фетиш.

Полемизируя с Герценом, преклонявшимся перед общиной как признаком нашего превосходства перед «мещанским Западом», Чернышевский доказывал, что она не специфически русское явление, а существовала у всех народов на известной ступени культуры и что она не столько намек на провиденциальную миссию нашего крестьянства обновить дряхлеющий мир, сколько признак нашей экономической и социальной отсталости.

«То, что существует у нас по обычаю, — замечает он, — неудовлетворительно для более развитых потребностей и более усовершенствованной техники» Европы.

Чернышевский обставлял далее вопрос об общине такими существенными оговорками и условиями, которые придавали его защите совершенно условный характер.

В статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» он много и долго говорит, правда, о возможности для того или другого народа пережить некоторые фазы исторического развития более ускоренным темпом, но

* О поземельной собственности.

только в том случае, если каким-нибудь другим народом уже осуществлена более высокая цивилизация.

Из всех тех многочисленных примеров и аналогий, которые он приводит в пользу своей мысли о необязательности промежуточных или переходных исторических эпох, с неопровержимой наглядностью выясняется, что непрременным для этого условием является именно наличие где-нибудь в другой стране более развитой и передовой культуры.

Так, например, дикарь может перейти от дубины как средства нападения и защиты прямо к огнестрельному оружию, не прибегая к копыю и броне феодала, если найдет у дальше ушедшего народа более высокую военную технику.

Согласно этой концепции, Россия могла бы перейти от натурального хозяйства через общину к коллективистическому строю, почти минуя фазу частнокапиталистического производства, однако лишь в том случае, если ее превращение в страну машинной техники и крупной промышленности совпадет приблизительно с установлением на Западе социалистического общества.

Если же в Европе благополучно будет существовать капиталистическая система производства и отношений, то община никаким мостом в царство «равенства и братства» не послужит.

Переходя из области чисто абстрактных теоретических построений на почву практической действительности, Чернышевский относился опять-таки к вопросу о сохранении общины чрезвычайно осторожно, обставляя ее рядом существенных оговорок.

Принцип общинного владения землей как «высшая гарантия благосостояния людей, до которых он относится», заслуживал бы внимания лишь тогда, когда «даны другие низшие гарантии благополучия, нужные для доставления простора для действия» этого принципа.

Под этими «низшими гарантиями» Чернышевский подразумевал, во-первых, наличие политической свободы, во-вторых, переход всей земли по минимальной оценке или, еще лучше, безвозмездно в руки крестьянства.

«На предположении этих двух условий была основана та горячность», с какой он защищал общинное владение.

Когда же выяснилось, что крестьяне будут играть в деле эмансипации совершенно пассивную роль, Чернышевский отказался от своей прежней позиции.

«Я стыжусь самого себя! — писал он. — Мне совестно вспомнить о той самоуверенности, с которой поднял я вопрос об об-

щинном владении. Этим делом я стал безрассуден — скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах».

И чем больше выяснялась пассивная роль крестьянства, тем более охладевал Чернышевский вообще к «реформе», на которую либералы и интеллигенция возлагали такие большие надежды.

«Я не желаю, — говорит один из его героев, его alter ego¹⁴, Волгин *, — чтобы делали реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом».

В окружающей действительности Волгин не видит таких «сил», которые могли бы взять на себя дело освобождения в интересах трудящихся.

«Нелепо, — восклицает он, — приниматься за дело, когда нет сил на него. Станут освобождать. Что выйдет? Сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально что — испортишь дело».

Сопоставляя план освобождения крестьян, помещиков и либералов, Волгин не видит здесь особенной разницы — разница была бы «колоссальна», если бы крестьяне получили землю без всякого «выкупа».

И Волгин бесстрашно додумывает эту мысль до ее логического конца, доказывая, что при существующих условиях было бы целесообразнее освободить крестьян «без земли», ибо тогда у нас образуется тот самый класс, который, по убеждению Чернышевского, был самым прогрессивным элементом западноевропейского общества.

Как видно, Чернышевский был очень условным защитником общины, и как бы отвлеченны и теоретичны ни были часто его построения и рассуждения, он всегда прежде всего считался с соотношением реальных сил на Западе и у нас.

Не народником был Чернышевский и по своим взглядам на преимущество крупного или мелкого сельского хозяйства.

Для него лично не было сомнения, что в недалеком будущем исчезнут «причины различия между земледелием и фабричной промышленностью по отношению к выгодности производства в большом размере».

Он готов, конечно, согласиться, что в «настоящее время» (1860 г.) земледелие еще мало развито, т. е. к нему еще в «слабой степени» прилагается капитал.

* Пролог пролога.

«Но, — спешит он прибавить *, — если принять во внимание успехи технологии, механики и химии», то едва ли можно сомневаться в «приближении коренной реформы земледельческого производства, реформы вроде той, которая произведена в мануфактурном деле открытиями» конца XVIII и начала XIX века.

Между тем как преимущество мелкого хозяйства заключается в том, что производитель является вместе с тем и хозяином, заинтересованным в производительности труда, выгода крупного состоит в возможности применения к нему усовершенствованных методов обработки.

И это «техническое» превосходство крупного хозяйства казалось ему столь важным в сравнении с «моральными» преимуществами мелкого, что он не сомневался, что в борьбе за существование победа в конце концов останется на стороне первого.

«Перевес выгод, даваемых делу усовершенствованными процессами, требующими обширных размеров производства, так велик, что ни в какой отрасли экономического быта мелкое хозяйство не может выдержать соперничества с большим, как скоро прогресс технологии и механики открывает возможность усовершенствованных процессов в этом деле и начинает прилагаться к делу капитал большими массами».

И Чернышевский подчеркивает, что «как только у большого хозяина» появляются усовершенствованные орудия производства, то «никакое усердие в труде не спасет мелкого».

Если в Западной Европе «при нынешнем общественном устройстве» еще сохранились, а не исчезли «поселяне-собственники», то не потому, что мелкое крестьянское хозяйство выше и лучше, а «лишь» потому, что «земледелие в их местах еще сохранило неразвитые процессы производства и в больших хозяйствах».

«Когда же (сельское хозяйство) станет (а оно уже начинает становиться) не патриархальным, а коммерческим делом, мелкие хозяйства должны погибнуть при нынешнем экономическом устройстве».

Эти слова снова убедительно показывают, что Чернышевский отнюдь не был народником, всегда защищавшим и превосходство и выживание мелкого сельского хозяйства.

Не преувеличивая значение общины, отдавая крупному производству безусловное преимущество перед мелким, Чернышевский, в отличие от народников, не видел в крестьянстве положительный фактор прогресса.

* Примечания к Миллю.

Он слишком хорошо знал, какую темную роль играл на Западе Европы мелкий деревенский собственник во всех крупных общественных движениях.

Излагая в одном месте * события, предшествовавшие избранию Наполеона III, он подчеркивал, что понимание текущего момента было заметно только среди городских рабочих, тогда как деревня «коснела в невежестве» и «покорно следовала за своими обычными авторитетами — за землевладельцами и духовенством».

Неоднократно указывал он и на ту реакционную роль, которую играло крестьянство в Австрии, постоянно играя на руку консервативным течениям жизни.

Не разделял он ни «мессианических» надежд Герцена на русского мужика, ни веры Добролюбова в активность крестьянского мира.

Чернышевский, впрочем, не сомневался, что значительному числу мелких собственников предстоит процесс пролетаризации.

Неоднократно указывал он на железный закон концентрации капиталов в промышленности, в силу которого «богатство должно сосредоточиваться все в меньшем и меньшем количестве рук и все тяжелее и тяжелее становится положение работников» **.

Под влиянием этого «рокового закона» мелкий собственник и производитель в городах все более превращается в пролетария.

«Во всех заводских, фабричных и ремесленных производствах, — замечает Чернышевский ***, — масса работников быстро переходит в состояние наемных работников, а в отраслях промышленности, где наиболее усовершенствованны процессы производства, уже вся сполна перешла в это положение».

В области сельского хозяйства «ремесленнику, работающему в мастерской поодиночке, при помощи лишь своей семьи и двух-трех несовершеннолетних учеников», соответствует крестьянин-трудовик, «поселянин-собственник».

Если вспомнить, что, по мысли Чернышевского, в более или менее отдаленном будущем должно исчезнуть «различие между фабричной промышленностью и сельским хозяйством», то, стало быть, необходимость перейти в ряды «наемных работни-

* Кавеньяк.

** Славянофилы и община.

*** Примечания к Миллю.

ков» предстоит и значительным слоям мелких деревенских собственников.

И в этом процессе пролетаризации масс Чернышевский, как выше было указано, не видел ничего страшного.

Он знал, что эта «болезнь» — не к смерти, а «к жизни»!

* * *

Есть у нашей интеллигенции другая традиция, которая усматривает в Чернышевском типичного социалиста-утописта, вышедшего из школы Сен-Симона и Фурье и не ушедшего в своих взглядах дальше их учения.

Нет спора, в его взглядах было немало утопических черт, от которых он не мог освободиться главным образом благодаря экономической отсталости тогдашней России.

И однако в его мировоззрении есть немало и таких положений, которые резко отличают его от социальных реформаторов типа Сен-Симона и Фурье. Утописты держались того убеждения, что «новое» общество, в котором гармонически будут примирены все интересы, будет созданием самих же верхов, а отнюдь не низов.

Фурье всю жизнь мечтал расположить к своим преобразовательным планам капиталистов и интеллигенцию, доказывая им, что если в «новом» обществе значительно поднимется заработная плата, то в еще большей степени повысятся доходы капиталистов и интеллигенции.

Рабочая масса была в глазах утопистов не более как инертное, пассивное стадо, которое буржуазия обязана опекать, воспитывать, благодетельствовать.

В своем известном проекте реорганизации Франции Сен-Симон ставил во главу общества капиталистов и интеллигенцию как его прирожденных правителей и организаторов, причем рабочие обязаны, по его словам, обратиться к ним с такой речью: «Вы богаты и работаете головою, тогда как мы бедны и работаем руками», из этого основного различия следует, что «мы должны вам подчиняться».

Чернышевский, напротив, держался того мнения, что всякое улучшение в быте трудящихся может и должно быть делом только самих же трудящихся.

С этой точки зрения он полемизировал, например, с мальтузианцами.

Английские мальтузианцы не были, конечно, утопистами, а очень трезвыми реалистами. Участь рабочего класса зависела,

по их мнению, всецело от самого же рабочего класса. Исходя из того положения, что благосостояние страны растет медленнее ее населения, они обращались к работникам с советом воздерживаться от производства на свет многочисленного потомства, тогда само собою улучшится их материальное положение.

Чернышевский не соглашается, конечно, с их ссылкой на необходимость воздержания, но вполне принимает их тезис о самостоятельности рабочего класса.

«Если, — замечает он, — под благоразумием понимать не одну воздержанность, а вообще ясное сознание о качествах существующего экономического устройства и о том, как оно должно быть изменено, то, конечно, все зависит от благоразумия самих работников*.

Стоя на такой точке зрения, Чернышевский не мог согласиться с утопистами, с их основным тезисом, что рабочий класс не более как пассивная, инертная масса, годная лишь для филантропических экспериментов капиталистов и интеллигенции.

Подвергая в одной из своих статей** довольно резкой критике французских сен-симонистов, указав на многочисленные реакционные черты их учения, изобразив их самих как салонных риториков, обуреваемых филантропическими порывами, Чернышевский замечает, что с течением времени их мечты о лучшем строе облеклись в более «рассудительные формы» и из «восторженной забавы» (интеллигенции) превратились в простую насущную потребность для широких масс.

«А когда, — прибавляет он, — станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь».

Чернышевский соглашается с утопистами, что человечество неизбежно идет от частнокапиталистического хозяйства к «товарищеской ассоциации», но эта «товарищеская ассоциация» войдет в жизнь вовсе не потому, что люди проникнутся взаимной «любовью», а именно потому, что этот «союз» лучше всего обеспечит материальное благосостояние работников: «любовь <же> бывает только результатом, возникающим из согласия интересов».

Другой чертой, проводящей резкую линию между Чернышевским и утопистами, является их разное отношение к вопросу о политической борьбе.

* Примечания к Миллю.

** Июльская монархия.

Исходя из того положения, что «новое» общество будет создано совместными усилиями капиталистов, рабочих и интеллигенции, утописты отрицали необходимость борьбы за политическую власть, тогда как Чернышевский прекрасно понимал огромную важность политических реформ для водворения в жизнь новых общественных отношений.

Он упрекает сен-симонистов за то, что они вместо того, чтобы идти рука об руку с радикальными партиями к преобразованию политического строя, предпочитали в рамках старого строя основать свою идеальную организацию, свою «менильмонтанс-кую семью» — «отрекаясь от старого мира, они отреклись даже и от людей, которые больше других в старом мире хотели добра простолюдинам» *.

Так же резко порицает он французских социалистов 48 года за то, что они не позаботились о завоевании политического могущества, которое облегчило бы им осуществление их программы **.

Между тем как утописты воображали, что «новое» общество воцарится на земле не сегодня-завтра, стоит только людям захотеть, Чернышевский прекрасно понимал, что это чистейшая иллюзия, ибо смена социальных форм зависит от комбинации реальных сил, от активности тех или других классов, заинтересованных в возникновении этих социальных форм.

И он поэтому нисколько не преувеличивал близость момента превращения капиталистического общества в «товарищескую ассоциацию» — мир далек от этого момента, если и «не на тысячу лет», то, во всяком случае, «на сто или полтораста» ***.

Наконец, если утописты относились отрицательно к периодам общественных «кризисов», Чернышевский в них видел главные этапы прогресса.

В одном месте **** он сравнивает человечество с молодым неоперившимся воробышком, который учится летать прыжками — с каждым скачком он падает на землю и больно ушибается, но с каждым скачком становится все сильнее, поднимается все выше и наконец упорхает в небесную высь, со звонкой и радостной песней.

И хотя, «судя по нынешнему», ему и «еще не скоро придет время летать», — «но все-таки оно придет» — «сомневаться тут нечего».

* Там же.

** Кавеньяк.

*** Экономическая деятельность и законодательство.

**** Политическое обозрение (1859).

Стоя на такой умеренно оптимистической точке зрения, Чернышевский не преувеличивал ни творческих способностей периодов подъема, ни разрушительных сил периодов упадка.

И к нему прежде всего приложимы следующие слова, которыми он обрисовал образ исторического реалиста: «Он не обольщается излишними надеждами на светлые эпохи одушевленной исторической работы», зная, что «минуты творчества непродолжительны и влекут за собой временный упадок сил».

Но зато он и «не унывает в тяжелые годы реакции», зная, что из нее «по необходимости возникает движение вперед».

«Он не мечтает о вечном продолжении дня, когда поля облиты радостным, теплым светом солнца».

Но зато, «когда их охватит мрачная и сырая ночь, он с твердой уверенностью ждет нового рассвета и спокойно всматривается в положение созвездия, считая, сколько именно часов осталось до появления зари».

* * *

В мировоззрении Чернышевского было, конечно, немало и утопических и народнических черт, но громче и явственнее звучат в нем мотивы научного реализма.

И благодаря им он не умер, а все еще продолжает жить среди нас и, вероятно, еще долго будет жить.

Судьба этого великого ума не лишена значительной доли трагизма.

Когда Чернышевский находился в апогее сил и влияния, у него были все данные для того, чтобы стать одним из творцов научно-социальной доктрины, но страна, где ему приходилось жить и действовать, была еще так мало развита в экономическом отношении, что ставила его острой и пронизательной мысли непреодолимые преграды*.

Когда же он после долголетней ссылки вернулся назад в культурный мир, в стране уже произошли существенные изменения и уже намечались те материальные факторы, которые могли бы ему облегчить упомянутую роль, но он сам оказался настолько подорванным в своих силах, настолько оторванным

* Вспомним, что и Энгельс был сторонником учения «истинного социализма» или народничества, пока жил в экономически отсталой Германии, и сделался одним из творцов научной теории только тогда, когда очутился в Англии, с ее развитыми капиталистическими отношениями.

от жизни, что не мог уже идти вровень с поступательным ходом истории.

Когда Чернышевский еще жил среди «живых», он не видел в окружающей жизни тех «реальных» сил, которые могли бы взять на себя осуществление его идеала.

Он чувствовал себя «чужим» в родной стороне.

Когда он потом вернулся из мира «мертвых», заживо погребенных, в окружающей действительности уже вырисовывались такие данные, которые могли бы ему внушить мысль, что он не «чужой», а «свой», но его проникновенный когда-то взор так потускнел от вынесенных лишений и долголетнего одиночества, что не сумел разглядеть тех самых явлений, которые позволяли ему смотреть так бодро на будущее Западной Европы.

Несмотря на неблагоприятные условия как исторической обстановки, так и личной жизни, Чернышевский, однако, предвосхитил основные положения научной теории социального развития и тем самым спаял себя неразрывными узами с теми общественными группами, интересы которых выражает эта теория.

Нет сомнения, — буржуазные слои интеллигенции пойдут в «процессе социального приспособления» по пути, указанному «Вехами».

Успех этой книги коренится не в случайных, а в органических причинах — в процессе капитализации страны, под влиянием которого все явственнее обнаруживается буржуазный характер интеллигентской психики.

Но не менее достоверно и то, что демократические низы этой интеллигенции, равно как и рабочий класс, всегда с наименьшей любовью будут чтить Чернышевского и имя его навсегда будет для них одним из «милых сердцу имен».

И «под шумом шиканий, под громом проклятий», раздающихся «с того берега» ровно двадцать лет спустя после его смерти, тем ярче выступает перед демократией образ великого разночинца, все такого же спокойного, все такого же убежденного, все такого же живого, как тогда, когда жил.

(Издано отдельной брошюрой: Фриче В. М., приват-доцент Московского университета. От Чернышевского к «Вехам». Книгоиздательство «Современные проблемы». М., 1910. С. 1—75)

